



Научная статья
DOI [10.19181/nko.2026.32.2.5](https://doi.org/10.19181/nko.2026.32.2.5)
EDN [BUBPOE](https://www.edn.ru/BUBPOE)
УДК 316.624:911.3



Е. Е. Демидова¹

¹ Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова. Москва, Россия

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЛЕТАЛЬНОЙ ДЕВИАНТНОСТИ: УБИЙСТВА И САМОУБИЙСТВА В ГЛОБАЛЬНОМ ИЗМЕРЕНИИ

Аннотация. В статье рассматриваются теоретико-методологические основания социологического анализа пространственного распределения летальных форм социальной агрессии. Исследование направлено на разработку аналитической рамки для изучения территориальной дифференциации авитальных девиаций на пересечении социологии девиантного поведения, криминологии, суицидологии, психологии и общественной географии. В рамках социологического подхода обосновывается возможность аналитического сближения понятий «социальная агрессия» и «социальное насилие» как форм деструктивного взаимодействия внутри общественной системы, получающих оценку через систему социальных норм. К предельным проявлениям социальной агрессии отнесены умышленные убийства и самоубийства, рассматриваемые как летальная гетероагрессия и предельная аутоагрессия. Эти явления различаются по направленности действия, социальным механизмам, культурной интерпретации и особенностям статистического учёта, однако сопоставимы по тяжести последствий и связи с нарушением жизнеспасающей нормы. На основе исторических и современных статистических данных выявлены значительные территориальные различия в распределении убийств и самоубийств. Показано, что соотношение этих форм летальной девиантности носит нелинейный характер и не сводится к универсальной прямой или обратной зависимости.

Ключевые слова: социология девиантности, социальная агрессия, социальное насилие, экстраагрессия, авитальные девиации, умышленные убийства, самоубийства, гетероагрессия, аутоагрессия, пространственное распределение, общественная география

Для цитирования: Демидова Е. Е. Социологический анализ пространственного распределения летальной девиантности: убийства и самоубийства в глобальном измерении // Наука. Культура. Общество. 2026. Т. 32, № 2. С. 67–85. DOI [10.19181/nko.2026.32.2.5](https://doi.org/10.19181/nko.2026.32.2.5). EDN [BUBPOE](https://www.edn.ru/BUBPOE).

Благодарность: Исследование выполнено в рамках государственного задания МГУ имени М. В. Ломоносова «Полимасштабные эффекты современных вызовов в социально-экономическом и политическом развитии стран мира».

Введение. По образному выражению Л. Берковица, агрессия и насилие относятся к явлениям, которые «подтачивают здание нашего общества» [1]. Они выступают важными индикаторами состояния социальной системы, поскольку затрагивают базовые нормы человеческого сосуществования, границы допустимого поведения и механизмы социального контроля.

Проблематика деструктивного поведения традиционно находится в фокусе внимания социологии, девиантологии, криминологии и психологии, однако территориальный аспект долгое время оставался на периферии отечественного научного поля. Пространственное распределение летальных форм агрессии часто рассматривается преимущественно описательно — через фиксацию страновых

и региональных различий, тогда как его социологическая интерпретация требует обращения к нормам, институтам, социальной дезорганизации и характеру социальных связей.

В данной работе агрессия рассматривается как социальное явление, крайние проявления которого могут быть описаны через их пространственное распределение. Автор не ставит задачу дать исчерпывающую теорию агрессии или представить полный обзор всех существующих подходов. Для целей исследования важнее выделить те понятия и методические решения, которые позволяют анализировать территориальную дифференциацию летальных форм девиантности.

В центре внимания находятся убийства и самоубийства как предельные формы авитальной девиантности. Они различаются по направленности действия: в первом случае агрессия обращена на другого человека, во втором — на самого субъекта. При этом оба явления сопоставимы по предельности последствий и могут рассматриваться внутри общей рамки социальной деструкции. Их соотношение в статье описывается через идею «клапанного» взаимодействия: в зависимости от состояния социальной среды, норм, институтов и характера социальных связей деструктивное напряжение может направляться вовне, принимая форму гетероагрессии, или внутрь, проявляясь как аутоагрессия.

Социологическая проблема исследования состоит в преодолении фрагментарного рассмотрения убийств и самоубийств как обособленных девиаций и в обосновании единой аналитической рамки, позволяющей сопоставлять их как разные векторы летальной экстраагрессии. Цель статьи — рассмотреть летальные формы агрессии как взаимосвязанные проявления деструкции внутри общественной системы, имеющие различную пространственную выраженность и связанные с состоянием социальных норм, институтов и социальных связей.

Материалы и методы исследования. Настоящее исследование носит преимущественно теоретико-методологический характер и дополняется эмпирической иллюстрацией пространственного распределения летальных форм девиантности. Методическую основу работы составляют концептуальный анализ, сравнительно-теоретический анализ научных подходов к изучению агрессии и насилия, вторичный анализ официальных статистических данных, а также картографическая визуализация. Концептуальный анализ использован для уточнения содержания понятий «агрессия», «социальная агрессия», «насилие», «гетероагрессия», «аутоагрессия» и «авитальные девиации», а также для обоснования возможности рассмотрения убийств и самоубийств в единой рамке летальной девиантности. Сравнительно-теоретический анализ направлен на сопоставление биологических, психологических и социологических подходов к объяснению агрессии и выделение оснований, значимых для пространственного анализа её крайних форм.

Эмпирическая часть исследования основана на вторичном анализе официальных статистических баз и глобальных отчётов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН). На их основе подготовлены картографические материалы, отражающие субрегиональное распределение преднамеренных убийств и самоубийств, а также страновую дифференциацию суицидальности¹. Используются абсолютные пока-

¹ Визуализация рисунков 1–2 выполнена С. Е. Яицким, студентом 4 курса кафедры социально-экономической географии зарубежных стран географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова.

затели и коэффициенты, рассчитанные на 100 тыс. человек. Первые позволяют оценить вклад регионов и субрегионов в глобальный объём летальной девиантности, вторые — интенсивность летальной гетеро- и аутоагрессии. Для субрегионального анализа использованы усреднённые данные за 2020–2023 гг. Страновая дифференциация суицидальности рассматривается по данным ВОЗ, относящимся к началу 2020-х гг.; картографическое отображение страновых коэффициентов выполнено за 2020–2022 гг. Статистические данные не используются для построения причинно-следственных моделей; их задача состоит в выявлении и визуализации территориальной дифференциации летальных форм социальной агрессии на глобальном, макрорегиональном и страновом уровнях, социологической интерпретации пространственных различий и постановке дальнейших исследовательских вопросов в рамках социологии пространства и девиантологии.

Подходы к определению агрессии и основные концепции. Термин «агрессия» имеет латинские корни: *aggressio* означает «нападение», а *aggredi* восходит к *adgradi* (*gradus* — «шаг», *ad* — «на»). Буквально он означает «двигаться на...», «наступать», что уже задаёт образ наступательного движения. Термин «агрессия» употреблялся и продолжает употребляться в отношении широкого спектра научных и прикладных явлений. Единого общепринятого определения этого явления пока не сложилось [1].

Первые научные подходы к агрессии во многом основывались на её понимании как инстинктивного поведения и рассматривали человека в ряду биологических видов. В этом ракурсе анализировались эмоции агрессивного ряда у Ч. Дарвина, социодарвинистские трактовки агрессии и концепция К. Лоренца, определявшего её как «инстинкт борьбы, направленный против собратьев по виду, у животных и у человека» [2; 3]. Вместе с тем человеческая агрессивность выходит за пределы ситуаций биологического выживания и внутривидовой конкуренции, поэтому её источник следует рассматривать как в природных, так и в социальных основаниях поведения [4].

Психоаналитическая традиция, представленная работами З. Фрейда, Э. Фромма и Э. Сторра, рассматривала агрессию через внутреннее напряжение между жизненными и разрушительными импульсами, а также через различие защитных и деструктивных её форм [5; 6; 7]. В рамках этой линии агрессия может быть направлена как вовне, на другого человека или социальную среду, так и внутрь, на самого субъекта, достигая предельного выражения в самодеструкции и суициде. Расширительное понимание агрессии как настойчивости, боевого азарта или способности к преодолению препятствий фактически сближает её с ассертивностью. Для настоящего исследования такое расширение методически нежелательно, поскольку размывает границу между активностью и деструктивным поведением, связанным с намеренным причинением вреда.

В дальнейшем исследовательский фокус сместился от трактовки агрессии как проявления инстинктов и эмоций к её анализу как формы поведения. В бихевиористских концепциях А. Басса и А. Бандуры агрессия понимается как поведение, направленное на причинение вреда другому человеку [8; 9], а последующие фрустрационные, когнитивные, социально-когнитивные и интеракционистские модели расширили представления о механизмах её формирования. В настоящей работе агрессия рассматривается как социально обусловленное поведение, связанное с нормами, институтами, характером социальных связей и допустимыми формами причинения вреда.

Соотношение понятий «агрессия» и «насилие». В Большой российской энциклопедии агрессия определяется как «мотивированное деструктивное поведение, направленное на нанесение вреда объектам нападения» [10]. В этом смысле термин «агрессия» семантически сближается с понятием «насилие», которое также связано с преднамеренным причинением физического, психологического или иного ущерба. В научной литературе данные понятия нередко употребляются как взаимозаменяемые, что характерно как для зарубежных [11, р. 11–28; 12; 13; 14], так и для отечественных [15] исследований. Близкий подход представлен и в документах ВОЗ, где насилие трактуется через преднамеренное применение силы или власти, способное привести к телесным повреждениям, смерти, психологической травме или иному ущербу [16].

При этом насилие является социально конструируемым феноменом, существующим в общественной среде и оцениваемым через систему социальных норм. В этом смысле значимо проводимое Я. И. Гилинским разграничение между агрессией животных и насилием людей [4; 17]. Для целей настоящего исследования следует различать агрессию животных как естественный механизм взаимодействия внутри биологической системы и социальную агрессию как нормативно оцениваемый механизм взаимодействия внутри общественной системы. Поэтому в рамках социологического и социогеографического анализа представляется обоснованным аналитическое сближение понятий социальной агрессии и социального насилия.

Социальная агрессия в контексте общественной нормы и девиаций. Одно из самых ёмких и часто используемых в научной литературе определений агрессии принадлежит Л. Берковицу. Под этой категорией он понимал «любую форму поведения, которая нацелена на то, чтобы причинить кому-то физический или психологический ущерб» [1]. Важнейшим признаком агрессии в таком понимании выступает не просто наличие негативных последствий, а целенаправленное причинение вреда. Однако в этой связи возникает вопрос о критериях «вредоносности». На основании чего можно оценивать причинённый вред и его социальную значимость? Эту задачу попытались разрешить представители французско-голландской школы Дж. де Глория и Р. де Риддер [18], предложившие два критерия агрессии: 1) наличие губительных для жертвы последствий; 2) нарушение нормы поведения. Последнее имеет особое значение, поскольку соотносит проявление агрессии с социальными нормами — морально-этическими и/или правовыми. В этом смысле агрессия и насилие могут быть отнесены к категории общественных девиаций.

Социальные девиации проявляются как на уровне отдельной личности, так и на уровне общества. Я. И. Гилинский определяет девиантное поведение как поступок или действие, не соответствующее официально установленным или фактически сложившимся в данном обществе нормам и ожиданиям [19]. При массовом и устойчивом воспроизводстве во времени и пространстве девиация выходит за пределы индивидуального поведения и приобретает характер социального явления. Именно к этой категории следует относить социальную агрессию и насилие. Их предельные формы, приводящие к смерти объекта девиации в случае убийства или субъекта действия в случае суицида, могут быть определены как авитальные девиации.

В рамках настоящей статьи для обозначения предельных, летальных форм социальной агрессии используется понятие экстраагрессии. Под экстраагрес-

сией понимается крайнее проявление социальной агрессии, связанное с намеренным причинением смерти другому человеку или самому субъекту действия. В этом смысле экстраагрессия объединяет два вектора авитальной девиантности: гетероагрессию, выраженную в умышленном убийстве, и аутоагрессию, предельной формой которой выступает самоубийство. Такое рабочее определение позволяет рассматривать убийства и самоубийства в единой аналитической рамке. В отличие от более широких категорий «смертность от внешних причин» и «насильственная смертность», понятие «экстраагрессия» акцентирует направленность деструктивного действия — вовне или на самого субъекта, сохраняя различие между социальными механизмами, нормативной оценкой и особенностями статистической регистрации этих явлений.

При включении критерия социальной нормы в анализ агрессии и насилия необходимо учитывать её историческую и культурную изменчивость. В отличие от физических или биологических систем, социальные нормы не обладают абсолютной объективностью. Дж. Курра отмечает, что границы между нормативным поведением и девиацией подвижны и зависят от конкретного социального порядка [20]. Даже летальная экстраагрессия, несмотря на объективность финального исхода, получает различную нормативную оценку в зависимости от исторической ситуации, культурной традиции и институционального контекста.

Вопрос о существовании общечеловеческих норм также не решается однозначно. Если человеческая жизнь рассматривается как высшая ценность, то запрет убийства кажется универсальным. Однако в ситуации войны, кровной мести или исполнения смертного приговора нормативная оценка лишения жизни может меняться. П. А. Сорокин в работе «Преступление и кара» показывал, что одно и то же явление в разных культурно-нормативных системах может оцениваться противоположным образом [21]. Следовательно, социальная норма выражает исторически сложившиеся пределы допустимого или обязательного поведения, а летальные формы агрессии должны рассматриваться не только как факты причинения смерти, но и как явления, получающие конкретную нормативную, правовую и культурную интерпретацию.

Гетероагрессия и аутоагрессия как векторы агрессивного действия. Несмотря на распространённое понимание агрессии как поведения, направленного на причинение вреда другому человеку, стремящемуся избежать такого воздействия [22, с. 30], в исследованиях аутоагрессивного поведения отмечается, что субъект и объект агрессивного действия могут совпадать [23]. Тем самым агрессия может проявляться не только как внешненаправленное действие, но и как форма самодеструкции. В этом контексте гетероагрессия обозначает направленность деструктивного действия на другого человека, а аутоагрессия — его обращённость на самого субъекта; предельным выражением последней выступает суицидальный акт [24].

В ряде исследований отмечается связь аутоагрессии с агрессией, направленной вовне: она рассматривается как форма трансформации агрессивного напряжения, отличающаяся прежде всего направленностью действия [25; 26]. Механизмы гетеро- и аутоагрессии не тождественны, однако между ними существует содержательная соотнесённость. Гетероагрессия и аутоагрессия могут быть описаны через модель «клапанного взаимодействия», при котором сформировавшееся агрессивное поведение направляется либо на окружающих, либо на самого субъекта [26].

Дополнительное значение для настоящей темы имеет понятие криминальной аутоагрессии, под которой Д. В. Жмуров понимает действия, направленные на лишение себя жизни и одновременно причиняющие вред окружающим [27, с. 46]. В этом случае суицид может выступать как самостоятельная цель либо как средство достижения иных целей; примером последнего является террористический акт с участием террориста-смертника.

Пространственное распределение летальной экстраагрессии. По данным ВОЗ, в глобальном масштабе число самоубийств значительно превышает количество убийств. Ежегодно в мире в результате суицида погибает более 720 тыс. человек², тогда как от преднамеренных убийств, по данным Управления ООН по наркотикам и преступности, в 2021 г. погибло около 458 тыс. человек³. Таким образом, добровольный уход из жизни остаётся более распространённой причиной смерти, чем внешнее межличностное насилие. При этом проявление экстраагрессии имеет выраженную географическую дифференциацию, на которую обращал внимание ещё Э. Дюркгейм, указывая, что «процент самоубийств, почти не изменяясь по годам, удваивается, утраивается, учетверяется и т.д. при переходе из одной страны в другую» [28].

Экстраагрессия в исторической ретроспективе. Изучение экстрадевиаций как массового социального явления стало возможным лишь благодаря формированию институтов государственной статистики в Западной Европе. До середины XVIII века учёт случаев как преднамеренных убийств, так и добровольного ухода из жизни носил фрагментарный характер и преимущественно отражался в церковных метрических книгах или судебных хрониках, в которых фиксация данных фактов во многом зависела от религиозных и правовых догм конкретного региона.

Исторический анализ показывает, что динамика насилия в западной цивилизации развивалась по принципу «сообщающихся сосудов». По мере усложнения и укрепления государственных и общественных институтов вектор агрессии смещался с внешнего (убийства) на внутренний (самоубийства). Данный феномен может быть рассмотрен через концепцию «процесса цивилизации» Н. Элиаса: развитие государственности, правопорядка и механизмов социального контроля сопровождалось усилением самоконтроля и сдерживанием спонтанных импульсов гетероагрессии [29]. В такой интерпретации снижение внешнего насилия связано с более широким процессом институционального и личного контроля, при котором деструктивное напряжение не исчезает полностью, а частично «капсулируется» и переносится во внутренний план.

Сравнительный анализ уровня преднамеренных убийств и суицидов в европейских государствах на этапе их индустриального перехода (XVIII–XIX вв.) выявляет существенную региональную дифференциацию и позволяет выделить три основные модели соотношения векторов летальной экстраагрессии.

К модели *институционального контроля* можно отнести страны с наиболее выраженным разрывом между снижающейся гетероагрессией и повышающейся

² Самоубийство // ВОЗ. 25.03.2025. URL: <https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/suicide> (дата обращения: 19.04.2026).

³ Global Study on Homicide 2023. Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime, 2023. URL: https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/gsh/2023/Global_study_on_homicide_2023_web.pdf (accessed: 19.04.2026).

аутоагрессией. В эту группу входят общества, в которых укрепление правопорядка, развитие судебных институтов и постепенная монополизация насилия государством сопровождались заметным снижением летального межличностного насилия. Так, Англия к концу XIX в. выступала почти эталоном безопасного в криминогенном отношении пространства. Если в позднесредневековый период уровень убийств в отдельных городах достигал десятков случаев на 100 тыс. населения, то к концу XIX века он стабилизировался на уровне менее 2 случаев [30]. В то же время показатели самоубийств в Англии и Уэльсе оставались заметно выше и составляли около 6–7 случаев на 100 тыс. человек [28]. Ещё более контрастная ситуация фиксировалась в ряде стран Западной и Центральной Европы, где снижение внешнего насилия сочеталось с высокой суицидальной активностью, особенно в протестантских и индустриализированных регионах. Так, в Саксонии коэффициент самоубийств превышал 30 случаев на 100 тыс. населения, превосходя уровень умышленных убийств более чем в 30 раз, что характеризует тип урбанизированного индустриального общества с жёстким правопорядком, где индивид, лишённый традиционной общинной поддержки, оказывается уязвим перед кризисами модернизации [28]. В этой модели укрепление правопорядка привело к практически полному вытеснению внешней агрессии механизмами социального и внутреннего самоконтроля.

На другом полюсе находится *традиционно-общинная модель*, характерная для стран Южной Европы, в частности Италии. Здесь дольше сохранялось влияние патриархальных, религиозных и локально-общинных связей, а также кодов межличностной и клановой чести. Уровень умышленных убийств, хотя и снижался по сравнению со средневековыми пиковыми значениями, к концу XIX века оставался более высоким по общеевропейским меркам, чем в странах Северо-Западной Европы [30]. Одновременно в южноевропейских католических обществах регистрировались сравнительно низкие показатели суицидальности — около 3–4 случаев на 100 тыс. населения [28]. Вероятно, высокая степень коллективной интеграции, связанная с патриархальной семьёй, религиозной общиной и локальными социальными связями, снижала риски индивидуальной аномии и суицида, но могла сохранять условия для острых межличностных конфликтов с тяжёлым исходом.

Срединное положение занимает *модель структурной трансформации*, присущая странам Северной и Западной Европы. Скандинавский регион, в частности Швеция и Дания, представляет собой пример постепенной смены вектора летальной девиантности. В раннее Новое время отдельные шведские городские центры демонстрировали сверхвысокий уровень криминального насилия. Например, до 80 убийств на 100 тыс. населения в столичном округе Стокгольма и 90–125 в малых городах, таких как Вадстена и Арбуга. Однако последующее развитие государственных институтов и систем социального контроля привело к его последовательному снижению [30].

Согласно материалам шведского института статистики Tabellverket⁴, в Швеции фиксировался долгосрочный рост смертности от аутоагрессии. Исторические исследования показывают, что уровень самоубийств увеличился примерно с 2 случаев на 100 тыс. населения в середине XVIII века до 20 случаев в 1971–1975 гг. [31]. Ещё более выраженная инверсия наблюдалась в Дании, в которой

⁴ The Tabellverket database: [historical demographic database] // Centre for Demographic and Ageing Research (CEDAR). Umeå University. URL: <https://www.umu.se/en/centre-for-demographic-and-ageing-research/infrastructure-at-cedar/open-data/tabverk-on-the-web/> (accessed: 19.04.2026).

уровень самоубийств был наиболее высоким в Европе и достигал 23–25 случаев на 100 тыс. жителей [28]. Таким образом, в североευропейской модели особенно заметен *инверсионный перелом структуры летальной девиантности*. Доминировавшая ранее гетероагрессия постепенно уступала место аутодеструктивным формам авитального поведения.

Перед переходом к современной глобальной статистике необходима методическая оговорка. При работе с ранними историческими данными исследователи неизбежно сталкиваются с проблемой латентности, особенно в отношении учёта суицидов. В конце XIX — начале XX вв. из-за религиозного осуждения и правовых последствий для семей погибших часть самоубийств могла скрываться или классифицироваться как несчастные случаи: «смерть от неосторожности», «отравление неизвестным веществом», «утопление». Тем не менее именно эти статистические массивы, несмотря на неполноту и различия процедур учёта, стали основой для последующего формирования международных подходов к регистрации насильственной смертности.

В XX веке сведения о глобальном уровне летальной гетеро- и аутоагрессии всё ещё оставались разрозненными из-за различий в источниках данных, сроках учёта, правовых определениях убийства, медицинской регистрации причин смерти и качестве национальной отчётности. Ситуация заметно изменилась в 2010-х гг., когда доклады УНП ООН и ВОЗ систематизировали данные о глобальной насильственной смертности и сделали возможным более точное сопоставление показателей убийств и самоубийств на макрорегиональном уровне. Так, доклад УНП ООН «Глобальное исследование по проблемам убийств-2011»⁵ сформировал базу данных по числу и коэффициенту убийств для более чем 200 государств, оценив число преднамеренных убийств в мире в 2010 г. примерно в 468 тыс. случаев, а среднемировой коэффициент — в 6,9 случая на 100 тыс. населения. В докладе ВОЗ «Предотвращение самоубийств: глобальный императив»⁶ были стандартизированы показатели по 172 государствам. В 2012 г. число самоубийств оценивалось примерно в 804 тыс. случаев, а глобальный возраст-стандартизированный коэффициент — в 11,4 случая на 100 тыс. населения. Несмотря на различия в годах и процедурах статистического учёта, эти оценки показывали, что число смертей в результате самоубийств заметно превышало число преднамеренных убийств. Данные начала 2020-х гг. свидетельствуют о сохранении значительного общего объёма летальной экстраагрессии при изменении её страновой и региональной структуры.

Современная субрегиональная структура летальной экстраагрессии. Анализ «географии насильственной смертности» целесообразно начать с рассмотрения абсолютного числа убийств и самоубийств на уровне субрегионов мира за 2020–2023 гг. (рис. 1). Эти показатели помогают оценить вклад отдельных макрорегионов и субрегионов в глобальный объём летальной девиантности, но не интенсивность суицидального риска. Понимание интенсивности проявления гетеро- и аутоагрессии требует обращения к относительным показателям, рассчитанным на 100 тыс. населения.

⁵ Global Study on Homicide 2011: Trends, Contexts, Data. Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime, 2011. 130 p. URL: https://www.unodc.org/documents/congress/background-information/Crime_Statistics/Global_Study_on_Homicide_2011.pdf (accessed: 19.04.2026).

⁶ Preventing suicide: a global imperative. Geneva: World Health Organization, 2014. 89 p. URL: <https://www.who.int/publications/i/item/9789241564779> (accessed: 19.04.2026).

обстановки. В Западной, Северной и Южной Европе фиксируются минимальные показатели умышленных убийств (в совокупности на эти страны приходится всего 1% от общемирового числа). Напротив, Восточная Европа образует обособленную группу с повышенной концентрацией тяжкого насилия. В этом контексте восточноевропейский субрегион стал исключением из «регионального правила». Постсоциалистическое наследие сближает его, скорее, со странами-бывшими республиками СССР, нежели остальной Европой.

Особое положение занимает Северная Америка⁷, где в 2010-е гг. фиксировался рост числа преднамеренных убийств, прежде всего за счёт ситуации в США. Это делает североамериканский субрегион одним из заметных центров летальной гетероагрессии среди развитых стран.

Отличительная черта **летальной аутоагрессии** — высокая территориальная концентрация. Азия выступает абсолютным пространственно-географическим ядром, на которое приходится около 60% глобального числа суицидов. Однако внутри макрорегиона, как и в случае преднамеренных убийств, наблюдается резкая дифференциация «центр — периферия», но уже с иным «субрегиональным рисунком». Так, Южная и Восточная Азия формируют крупный пространственный кластер, где происходит более половины мирового числа самоубийств. Юго-Восточная Азия выполняет роль переходной зоны, уступая лидерам в 5–6 раз. Западная и Центральная Азия демонстрируют минимальные значения. В Африке фиксируется выраженная географическая асимметрия по линии «Север — Юг». Африка южнее Сахары занимает третье место в мире среди всех субрегионов, формируя самостоятельный узел концентрации самоубийств. На этом фоне вклад арабской Северной Африки остаётся минимальным.

Европа демонстрирует структуру, противоположную привычной геоэкономической карте мира. Восточная Европа резко доминирует в макрорегионе, концентрируя более 50% общеевропейского «объёма» суицидов. Западная Европа сохраняет значимый вес, в то время как периферийные субрегионы — Южная и Северная Европа — с позиции абсолютных показателей имеют второстепенное значение, как на региональном, так и глобальном фоне. Западное полушарие характеризуется относительным балансом между двумя крупными историко-географическими областями: Северной и Южной Америкой. Североамериканский субрегион выступает в качестве одного из ведущих мировых эпицентров самоубийств, сопоставимого по масштабам с Восточной Европой. Латино-Карибская Америка лишь незначительно уступает северному соседу, что указывает на значимый вклад западного полушария в глобальный массив суицидальных смертей. Роль Австралии и Океании традиционно невелика.

Таким образом, сравнительный анализ субрегиональной структуры насильственной смертности выявляет сложное, вариативное территориальное соотношение между умышленными убийствами и суицидами.

Проблема нелинейного соотношения гетеро- и аутоагрессии была рассмотрена ещё в XIX веке Э. Дюркгеймом в его классической работе «Самоубийство: социологический этюд», в которой он, вопреки существующей на тот момент научной социологической традиции, указывает на отсутствие универсальной связи между данными видами экстремальной девиантности. По мнению Дюр-

⁷ Состоящая, по сути, всего из двух государств: США и Канады, так как Мексика относится к группе латиноамериканских стран.

кгейма, «...истина заключается в том, что здесь нет ни прямого, ни обратного отношения... Если в некоторых случаях оба явления уживаются друг с другом, по крайней мере, отчасти, то в других они находятся в явном антагонизме...» [28]. Пространственный анализ современных статистических данных согласуется с тезисом о подвижности соотношения между убийством и самоубийством в зависимости от преобладающего типа дезорганизации социальной структуры.

В контексте дюркгеймианской концепции эгоистическое самоубийство и убийство могут находиться в состоянии структурного антагонизма, обнаруживая обратную направленность социального воспроизводства. Эгоистический тип самоубийства детерминирован крайней индивидуализацией и ослаблением социальных связей. Возникающий в этой среде дефицит коллективных смыслов порождает у индивида аутодеструктивные состояния, вызванные меланхолическим настроением, пресыщенностью, отсутствием радости и др. Однако оборотной стороной глубокой автономизации становится институционализированное уважение к чужой личности, поскольку ценность человеческого «Я» возводится в абсолют. Как следствие, в подобных социокультурных условиях может расти число самоубийств при одновременном снижении числа посягательств на чужую жизнь. Данная теоретическая модель позволяет интерпретировать зафиксированную на макрорегиональном уровне полярность современной Восточной Азии, где высокие показатели суицида сосуществуют с минимальным уровнем гетеронасилия.

Принципиально иную динамику демонстрируют аномическое самоубийство и убийство, которые могут формировать сопряжённый вектор летальной девиантности. Состояние аномии как нормативного вакуума и ценностной дезориентации наступает в периоды резких макросоциальных сдвигов, когда общество утрачивает регулятивный контроль над индивидуальными проявлениями. Ситуация перманентной фрустрации амбивалентна: при одних условиях она кристаллизуется в ярость и раздражение, а при других — в тотальную неудовлетворенность собой, отчаяние, эмоциональное истощение. Поэтому кризисное напряжение способно реализоваться в виде разрушительного импульса как вовне — на уничтожение другого, так и внутрь — на ликвидацию самого себя. Именно в условиях аномии убийства и суициды могут демонстрировать параллельный рост, что соотносится со структурой девиаций в Субсахарской Африке и постсоциалистической Восточной Европе, переживших масштабную деструкцию традиционных и советских институциональных систем соответственно.

В свою очередь, альтруистическое самоубийство, проистекающее из гипертрофированной интеграции индивида в группу и девальвации ценности отдельной жизни ради коллективного блага, исторически способно соседствовать с высоким уровнем гетеронасилия (например, в милитаризированных или теократических социумах).

Итак, классическая социологическая парадигма позволяет рассматривать убийство и самоубийство как феномены, которые не являются онтологически противоположными по своей природе. Характер их пространственного соотношения подвижен, нелинеен и во многом зависит от того, какой именно вектор дезорганизации (эгоистический или аномический) превалирует в конкретной социальной структуре на данном историческом этапе. Резюмируя, можно утверждать, что пространственная конфигурация умышленных убийств и самоубийств подчинена широкому спектру разных, подчас независимых друг от дру-

га факторов: от культурных и этических норм до геополитического положения региона или страны. Очевидно, что степень проявления преднамеренных убийств более зависима от качества работы правовых и правоприменительных институтов. Высокое вовлечение в гетероагрессию маркирует территории дефицита государственного контроля и девальвации монополии государства на насилие. В то же время география самоубийств функционирует в рамках более сложной многофакторной матрицы. Она охватывает как развивающиеся, депрессивные субрегионы, так и высокоразвитые, постиндустриальные общества, указывая на сочетание материальной депривации, кризиса социокультурных связей, атомизации личности и интенсивного социально-психологического давления. Оценить, как именно эти глобальные тенденции преломляются на уровне конкретных регионов и стран, позволяет пространственный анализ карты суицидов.

Суицидальная картина мира: страновые и макрорегиональные контрасты. Глобальный ландшафт самоубийств представляет собой мозаику резких территориальных контрастов. Факторы риска, описанные выше, локализуются на карте мира крайне неравномерно, формируя очаги как сверхвысокой, так и сверхнизкой суицидальной активности. Рассмотрение этой специфики на страновом уровне свидетельствует о значимой дифференциации в уровне летальной аутоагрессии даже среди, на первый взгляд, схожих по культурным особенностям и уровню экономического развития государств. На основе данных ВОЗ об уровне самоубийств (числе случаев на 100 тыс. жителей) можно составить представление о мозаике стран с наиболее и наименее выраженной аутоагрессией (табл. 1).

Таблица 1

Страны с наибольшими и наименьшими коэффициентами самоубийств в начале 2020-х гг.

№	Топ-10*	Случаев на 100 тыс. населения	Антитоп-10	Случаев на 100 тыс. населения
1.	Лесото	28,7	Саудовская Аравия	0,9
2.	Южная Корея	27,5	Иордания	1,0
3.	Эсватини	27,2	Ирак	1,2
4.	Гайана	24,8	Ливан	1,3
5.	Уругвай	24,8	Оман	1,4
6.	Суринам	22,3	Кувейт	1,6
7.	ЮАР	22,3	ОАЭ	1,8
8.	Литва	22,1	Египет	2,0
9.	Россия	21,4	Алжир	2,1
10.	Украина	21,2	Ливия	2,1

Источник: составлено автором по данным ВОЗ. Suicide rates // Global Health Observatory. World Health Organization. URL: <https://www.who.int/data/gho/data/themes/mental-health/suicide-rates> (accessed: 20.04.2026).

Примечание: * В рейтинг включены страны с численностью населения более 200 тыс. человек. Сирия исключена из списка стран с минимальным уровнем суицидальности из-за затруднённого учёта смертей от суицида в условиях военного конфликта.

Группа стран с **наивысшими показателями** (топ-10) не является однородной и включает в себя несколько различных моделей летальной аутоагрессии⁸. *Африканский сектор* (Лесото, Эсватини, ЮАР) может рассматриваться в связи с сочетанием бедности, безработицы, эпидемиологических рисков, слабости социальных гарантий и общего высокого уровня социальной уязвимости [32]. *Восточноевропейский сектор* (Литва, Россия, Украина) связан с длительным следом постсоветской трансформации: социальной anomией 1990-х гг., исторически высокой алкоголизацией части населения, психосоциальным стрессом переходного периода, ограниченной доступностью и стигматизацией психиатрической и психологической помощи, а также накопленным давлением социальных и политических кризисов [33; 34]. *Южноамериканский сектор* неоднороден: в Гайане и Суринаме значимы депривация аграрных регионов и доступность летальных средств, включая пестициды [35; 36], тогда как в Уругвае часть суицидальных рисков может быть связана с демографическим старением, одиночеством и утратой устойчивых социальных ролей [37]. *Азиатская модель*, представленная прежде всего Южной Кореей, показывает, что высокий уровень суицидальности может формироваться и в экономически развитом обществе, на фоне социально-экономического давления, социальной изоляции пожилых людей и ослабления традиционных семейных связей [38].

В противовес этому, группа стран с **минимальным уровнем суицидов** (анти-топ-10) демонстрирует заметную социокультурную однородность: она почти полностью представлена государствами Ближнего Востока и Северной Африки. Низкие официальные коэффициенты в данном регионе могут быть связаны с религиозным табу на суицид, прочностью семейно-родственных связей и высокой нормативной закрытостью темы добровольного ухода из жизни [39; 40]. В монархиях Персидского залива (Саудовская Аравия, Оман, Кувейт, ОАЭ) дополнительным стабилизирующим фактором может выступать сочетание материальной обеспеченности, социальных гарантий и семейно-общинной поддержки. Однако из-за религиозных, правовых и культурных санкций часть суицидальных смертей может скрываться или классифицироваться как несчастные случаи.

Страновая типология фиксирует крайние полюса распределения, тогда как карта даёт возможность увидеть более широкую макрорегиональную конфигурацию суицидальности: зоны концентрации, периферии и внутренние контрасты крупных регионов мира (рис. 2).

Крупнейший центр летальной аутоагрессии — Азиатский макрорегион — характеризуется глубокой внутренней поляризацией уровня самоубийств. Минимальные показатели традиционно фиксируются в странах Ближнего Востока, где усреднённый уровень составляет около 4 случаев на 100 тыс. населения. Эта ситуация может быть связана с религиозными запретами, семейно-общинным контролем и особенностями регистрации суицидальных смертей. Противоположную зону формируют Восточная и Южная Азия, выступающие крупными очагами суицидального риска. Республика Корея демонстрирует один из наиболее высоких уровней суицидальности в мире — 27-28 чел. на 100 тыс., что почти в 3 раза выше среднемирового.

Особое положение в списке азиатских стран с позиции суицидальности занимает Индия. Высокий уровень летальной аутоагрессии в этой стране связан

⁸ Suicide rates // Global Health Observatory. World Health Organization. URL: <https://www.who.int/data/gho/data/themes/mental-health/suicide-rates> (accessed: 20.04.2026).

с наложением гендерных, семейных и аграрно-экономических факторов. Наиболее уязвимы молодые женщины: в исследованиях отмечается значение семейных конфликтов, брачного статуса, социально-демографического положения и гендерного неравенства [41; 42]. На Индию приходится 36,6% всех женских самоубийств в мире [41]. Отдельную линию образует «фермерский кризис»: долговая нагрузка, неурожаи, нестабильность аграрных доходов и доступность пестицидов повышают риски суицидального поведения в сельских регионах [43].

На европейской карте повышенная суицидальность образует протяжённую зону, охватывающую часть постсоветского и постсоциалистического пространства Восточной и Центральной Европы. Данные ВОЗ свидетельствуют о близости показателей между государствами Балтии, Венгрией, Польшей, Чехией и странами постсоветского пространства. Например, уровень самоубийств в Литве (22,1) и Венгрии (16,4) заметно превышает показатели южноевропейских стран. Эта конфигурация показывает устойчивый региональный рисунок суицидальности, выходящий за рамки отдельных страновых случаев, представленных в топ-10.

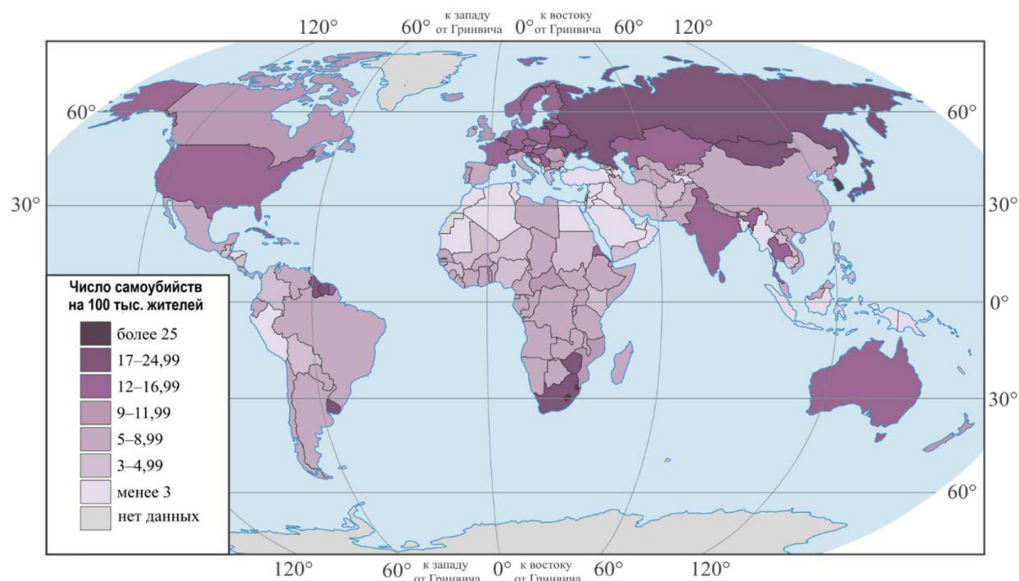


Рисунок 2. Уровень самоубийств в мире в 2020–2022 гг. на 100 тыс. населения

Источник: выполнено С. Е. Яицким по данным ВОЗ.

Вместе с тем европейская зона повышенной суицидальности не исчерпывается постсоциалистическим ареалом: относительно высокие показатели фиксируются также в Бельгии (18,4), Финляндии (14,6) и Австрии (14,5). В этих странах повышенная суицидальная нагрузка, вероятно, связана уже с иной констелляцией факторов развитых обществ — старением населения, одиночеством, распространённостью психических расстройств, алкоголизацией отдельных групп и доступностью летальных средств [44]. На этом фоне южноевропейские общества — Италия (7,0), Испания (8,7) — характеризуются сравнительно низкими показателями, что может быть связано с большей

плотностью семейных и локальных связей, а также общей спецификой средиземноморского уклада жизни.

США представляют собой один из наиболее критических примеров летальной аутоагрессии среди стран «Большой семёрки», стабильно удерживая лидерство по уровню суицидальной нагрузки. По данным ВОЗ, уровень самоубийств в США колеблется в диапазоне 13–14 случаев на 100 тыс. населения (в 1,5 раза выше среднемирового). В рамках современной социологии американская модель рассматривается через концепт «смертей от отчаяния» (*deaths of despair*), описывающий суициды среди людей, потерявших экономическую и социальную стабильность.

Таким образом, страновая и макрорегиональная картина суицидальности подтверждает выраженную территориальную неоднородность летальной аутоагрессии. Высокие коэффициенты фиксируются в обществах, различающихся по уровню экономического развития, культурным нормам и социальной структуре, что не позволяет свести географию самоубийств к действию одного универсального фактора.

Заключение. Проведённый анализ даёт основание рассматривать умышленные убийства и самоубийства как разные по направленности векторы летальной девиантности, описываемые в рамках настоящего исследования через понятие экстраагрессии. В первом случае деструктивное действие обращено вовне, во втором — на самого субъекта. Их сопоставление в единой социологической рамке оправдано предельностью последствий, нарушением жизнесберегающей нормы и связью с состоянием институтов, социальных связей и культурных регуляторов.

В западной цивилизации XVIII–XIX вв. динамика летальной экстраагрессии может быть интерпретирована через принцип «сообщающихся сосудов». По мере укрепления правопорядка, государственного контроля и механизмов саморегуляции происходило снижение внешнего насилия при росте значимости аутоагрессивных форм поведения. Модернизация, урбанизация и индустриализация способствовали переносу части деструктивного напряжения во внутренний план, что проявлялось в росте суицидальности в ряде европейских обществ.

Современная география насильственной смертности демонстрирует выраженную территориальную асимметрию. Умышленные убийства концентрируются преимущественно в макрорегиональной триаде Африка — Латинская Америка — Азия, тогда как центрами суицидальной активности выступают Южная и Восточная Азия, Восточная Европа и Северная Америка. Международная статистика ВОЗ и УНП ООН расширила возможности сопоставительного анализа летальной гетеро- и аутоагрессии и зафиксировала устойчивые различия между макрорегионами и странами.

Данные начала 2020-х гг. согласуются с тезисом Э. Дюркгейма о нелинейном и подвижном соотношении между убийствами и самоубийствами. Характер этого соотношения зависит от типа социальной дезорганизации, состояния институтов, плотности социальных связей, культурных норм и доступности средств причинения смерти. Территориальная концентрация преднамеренных убийств в большей степени маркирует дефицит государственного и правового контроля, тогда как география самоубийств подчинена более сложной многофакторной матрице. Высокая суицидальность фиксируется как в обществах с выраженной

бедностью, эпидемиологическими и институциональными рисками, так и в экономически развитых странах, где она может быть интерпретирована через концепцию «парадокса счастливых стран»: относительную депривацию, индивидуализацию, одиночество, ослабление традиционных связей и давление норм успеха [45].

Таким образом, феномен летальной экстрарагессии требует междисциплинарного анализа, соединяющего социологию девиантного поведения, пространственную социологию, общественную географию, психологию и исследования социального контроля. Практическое значение такого подхода связано с разработкой профилактических стратегий, учитывающих как общий уровень насильственной смертности, так и конкретные социокультурные, институциональные и территориальные профили риска.

Библиографический список / References

1. Берковиц Л. Агрессия: причины, последствия, контроль. СПб. : Прайм-Еврознак, 2002. 512 с.
Berkowitz L. Aggression: Its Causes, Consequences, and Control. St. Petersburg: Praim-Evroznak; 2002. (In Russ.).
2. Дарвин Ч. О выражении эмоций у человека и животных. СПб. : Питер, 2013. 320 с.
Darwin Ch. The Expression of the Emotions in Man and Animals. St. Petersburg: Piter; 2013. (In Russ.).
3. Лоренц К. Агрессия, или Так называемое зло. М. : АСТ, 2017. 352 с.
Lorenz K. On Aggression. Moscow: AST; 2017. (In Russ.).
4. Гилинский Я. И. Социальное насилие. СПб. : Алеф-Пресс, 2013. 185 с. EDN [SIQKKH](#).
Gilinsky Ya. I. Social Violence. St. Petersburg: Alef-Press; 2013. (In Russ.).
5. Фрейд З. Я и Оно: труды разных лет: в 2 т. Т. 1. Тбилиси : Мерани, 1991. 396 с.
Freud S. Das "Ich" und das "Es": Schriften aus verschiedenen Jahren: in 2 vols. Vol. 1. Tbilisi: Merani; 1991. (In Russ.).
6. Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности / пер. с нем. Э. Телятниковой. М. : АСТ, 2021. 736 с.
Fromm E. Anatomie der menschlichen Destruktivität. Moscow: AST; 2021. (In Russ.).
7. Storr A. Human Aggression. London: Allen Lane, The Penguin Press; 1968.
8. Buss A. H. The Psychology of Aggression. New York; London: Wiley and Sons; 1961. DOI [10.1037/11160-000](#).
9. Bandura A. Aggression: Social Learning Analysis. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall; 1973.
10. Ениколопов С. Н. Агрессия (в психологии) // Большая российская энциклопедия: научно-образовательный портал. 2022. URL: <https://bigenc.ru/c/agressiia-10ad5c/?v=7912836> (дата обращения: 19.04.2026).
Enikolopov S. N. Aggression in Psychology. In: Great Russian Encyclopedia. 2022. Available at: <https://bigenc.ru/c/agressiia-10ad5c/?v=7912836> (accessed: 19.04.2026). (In Russ.).
11. Felson R. B. A theory of instrumental aggression. In: Violence and Gender Reexamined. Washington, DC: American Psychological Association; 2002. P. 11–28.
12. Anderson C. A. Violence and aggression. In: Kazdin A. E. (ed.). Encyclopedia of Psychology. Vol. 8. Oxford: Oxford University Press; 2000. P. 162–169.
13. Fontaine R. G. Disentangling the psychology and law of instrumental and reactive subtypes of aggression. *Psychology, Public Policy, and Law*. 2007;13(2):143–165. DOI [10.1037/1076-8971.13.2.143](#).
14. Lore R. K., Schultz L. A. Control of human aggression: A comparative perspective. *American Psychologist*. 1993;48(1):16–25. DOI [10.1037/0003-066X.48.1.16](#). EDN [HFBBEV](#).
15. Шестакова Е. Г., Дорфман Л. Я. Агрессивное поведение и агрессивность личности // Образование и наука. 2009. № 7(64). С. 51–66. EDN [KWTBFB](#).
Shestakova E. G., Dorfman L. Ya. Aggressive behavior and personality's aggressiveness. *Education and Science Journal*. 2009;(7):51–66. (In Russ.).

16. Насилие и его влияние на здоровье. Доклад о ситуации в мире / Под ред. Э. Г. Круга, Л. Л. Дальберг, Д. А. Мерси [и др.]; пер. с англ. М. : Весь Мир, 2003. 376 с.
Krug E. G., Dahlberg L. L., Mercy J. A. [et al.] (eds.) *World Report on Violence and Health*. Moscow: Ves' Mir; 2003. (In Russ.).
17. *Гилинский Я. И.* Немного об апокалипсисе // Вопросы девиантологии. 2020. № 1. С. 109–117.
Gilinsky Ya. I. A little about the apocalypse. *Issues of Deviantology*. 2020;(1):109–117. (In Russ.).
18. Da Gloria J., Da Ridder R. Aggression in dyadic interaction. *European Journal of Social Psychology*. 1977;7(2):189–219. DOI [10.1002/ejsp.2420070207](https://doi.org/10.1002/ejsp.2420070207).
19. *Гилинский Я. И.* Девиантология: социология преступности, наркотизма, проституции, самоубийств и других «отклонений». СПб. : Алеф-Пресс, 2013. 634 с.
Gilinsky Ya. I. *Deviantology: Sociology of Crime, Drug Addiction, Prostitution, Suicide and Other “Deviations”*. St. Petersburg: Alef-Press; 2013. (In Russ.).
20. Curra J. *The Relativity of Deviance*. 5th ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications; 2020. DOI [10.4135/9781452224893](https://doi.org/10.4135/9781452224893).
21. *Сорокин П. А.* Преступление и кара, подвиг и награда: социологический этюд об основных формах общественного поведения и морали. М.; СПб.; Сыктывкар : Центр гуманитарных инициатив, 2021. 496 с.
Sorokin P. A. *Crime and Punishment, Heroic Deed and Reward: A Sociological Study of the Main Forms of Social Behavior and Morality*. Moscow; St. Petersburg; Syktyvkar: Tsentr gumanitarnykh initsiativ; 2021. (In Russ.).
22. *Бэрон Р., Ричардсон Д.* Агрессия. СПб. : Питер, 2000. 352 с.
Baron R., Richardson D. *Human aggression*. St. Petersburg: Piter; 2000. (In Russ.).
23. Исследование особенностей аутоагрессивного поведения у лиц, переживших сексуальное злоупотребление в детском возрасте / С. О. Кузнецова, А. А. Абрамова, А. Г. Ефремов [и др.] // Национальный психологический журнал. 2019. Т. 3, № 3. С. 88–100. DOI [10.11621/npj.2019.0310](https://doi.org/10.11621/npj.2019.0310). EDN [CMFNVJ](https://www.edn.ru/CMFNVJ).
Kuznetsova S. O., Abramova A. A., Efremov A. G. [et al.] The study of the auto-aggressive behaviour in individuals who survived sexual abuse in childhood. *National Psychological Journal*. 2019;3(3):88–100. (In Russ.). DOI [10.11621/npj.2019.0310](https://doi.org/10.11621/npj.2019.0310).
24. Диагностика суицидального поведения: методические рекомендации / сост. А. Г. Амбрумова, В. А. Тихоненко. М. : Московский НИИ психиатрии МЗ РСФСР, 1980. 48 с.
Ambrumova A. G., Tikhonenko V. A. (comp.) *Diagnosis of Suicidal Behavior: Methodological Recommendations*. Moscow: Moscow Research Institute of Psychiatry of the Ministry of Health of the RSFSR; 1980. (In Russ.).
25. *Руженков В. А., Руженкова В. В.* Некоторые аспекты терминологии и классификации аутоагрессивного поведения // Суицидология. 2014. Т. 5, № 1. С. 41–51. EDN [SBPVXL](https://www.edn.ru/SBPVXL).
Ruzhenkov V. A., Ruzhenkova V. V. Some aspects of terminology and classification of auto-aggressive behavior. *Suicidology*. 2014;5(1):41–51. (In Russ.).
26. *Розанов В. А.* Агрессия и аутоагрессия (суицид) — анализ с позиций нейробиологии // Суицидология. 2022. Т. 13, № 3. С. 3–38. DOI [10.32878/suiciderus.22-13-03\(48\)-3-38](https://doi.org/10.32878/suiciderus.22-13-03(48)-3-38). EDN [RKTXZR](https://www.edn.ru/RKTXZR).
Rozanov V. A. Aggression and auto-aggression (suicide) — analysis from the standpoint of neurobiology. *Suicidology*. 2022;13(3):3–38. (In Russ.). DOI [10.32878/suiciderus.22-13-03\(48\)-3-38](https://doi.org/10.32878/suiciderus.22-13-03(48)-3-38).
27. *Жмуров Д. В.* Криминальная аутоагрессия // Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. 2010. № 1. С. 45–49. EDN [KZRHPZ](https://www.edn.ru/KZRHPZ).
Zhmuurov D. V. Criminal auto-aggression. *Criminology Journal of Baikal National University of Economics and Law*. 2010;(1):45–49. (In Russ.).
28. *Дюркгейм Э.* Самоубийство: социологический этюд. М. : Мысль, 1994. 399 с.
Durkheim E. *Le Suicide*. Moscow: Mysl'; 1994. (In Russ.).
29. *Элиас Н.* О процессе цивилизации. Социогенетические и психогенетические исследования: в 2 т. Т. 2: Изменения в обществе. Проект теории цивилизации. М.; СПб. : Университетская книга, 2001. 380 с.
Elias N. *Über den Prozeß der Zivilisation. Soziogenetische und psychogenetische Untersuchungen: in 2 vols. Vol. 2: Wandlungen der Gesellschaft. Entwurf zu einer Theorie der Zivilisation*. Moscow; St. Petersburg: Universitetskaya kniga; 2001. (In Russ.).

30. Eisner M. Long-Term Historical Trends in Violent Crime. *Crime and Justice*. 2003;30:83–142. DOI [10.1086/652229](https://doi.org/10.1086/652229). EDN [HFWXEX](#).
31. Lindelius R. Trends in suicide in Sweden 1749–1975. *Acta Psychiatrica Scandinavica*. 1979;60(3):295–310. DOI [10.1111/j.1600-0447.1979.tb00278.x](https://doi.org/10.1111/j.1600-0447.1979.tb00278.x).
32. Iemmi V., Bantjes J., Coast E. [et al.] Suicide and poverty in low-income and middle-income countries: a systematic review. *The Lancet Psychiatry*. 2016;3(8):774–783. DOI [10.1016/S2215-0366\(16\)30066-9](https://doi.org/10.1016/S2215-0366(16)30066-9). EDN [XUQNJD](#).
33. Brainerd E. Economic Reform and Mortality in the Former Soviet Union: A Study of the Suicide Epidemic in the 1990s. *European Economic Review*. 2001;45(4-6):1007–1019. DOI [10.1016/S0014-2921\(01\)00108-8](https://doi.org/10.1016/S0014-2921(01)00108-8). EDN [LTTOCT](#).
34. Cornia G. A. The Mortality Crisis in Transition Economies. *IZA World of Labor*. 2016:298. DOI [10.15185/izawol.298](https://doi.org/10.15185/izawol.298).
35. Graafsma T., Kerkhof A. J. F. M., Gibson D. [et al.] High rates of suicide and attempted suicide using pesticides in Nickerie, Suriname, South America. *Crisis: the Journal of Crisis Intervention and Suicide Prevention*. 2006;27(2):77–81. DOI [10.1027/0227-5910.27.2.77](https://doi.org/10.1027/0227-5910.27.2.77).
36. Shaw Ch., Stuart Ja., Thomas T. [et al.] Pesticides and passion: A qualitative psychological autopsy study of suicide in Guyana. *The Lancet Regional Health – Americas*. 2023;26:100570. DOI [10.1016/j.lana.2023.100570](https://doi.org/10.1016/j.lana.2023.100570). EDN [MNHTZV](#).
37. Hein P., Ch vez-Hern ndez A. M., Padilla G. M. [et al.] Suicide in Later Life in Uruguay: A Suicide Note Analysis. *OMEGA – Journal of Death and Dying*. 2026;92(3):1191–1206. DOI [10.1177/00302228231196928](https://doi.org/10.1177/00302228231196928).
38. Jang H., Lee W., Kim Y. [et al.] Suicide rate and social environment characteristics in South Korea: the roles of socioeconomic, demographic, urbanicity, general health behaviors, and other environmental factors on suicide rate. *BMC Public Health*. 2022;22(1):410. DOI [10.1186/s12889-022-12843-4](https://doi.org/10.1186/s12889-022-12843-4). EDN [BYRXGZ](#).
39. Shah A., Chandia M. The relationship between suicide and Islam: a cross-national study. *Journal of Injury and Violence Research*. 2010;2(2):93–97. DOI [10.5249/jivr.v2i2.60](https://doi.org/10.5249/jivr.v2i2.60).
40. Pritchard C., Iqbal W., Dray R. Undetermined and accidental mortality rates as possible sources of underreported suicides: population-based study comparing Islamic countries and traditionally religious Western countries. *BJPsych Open*. 2020;6(4):e56. DOI [10.1192/bjo.2020.38](https://doi.org/10.1192/bjo.2020.38). EDN [HFJFDL](#).
41. Dandona R., Kumar G. A., Dhaliwal R. S. [et al.] Gender differentials and state variations in suicide deaths in India: the Global Burden of Disease Study 1990–2016. *The Lancet Public Health*. 2018;3(10):e478–e489. DOI [10.1016/S2468-2667\(18\)30138-5](https://doi.org/10.1016/S2468-2667(18)30138-5). EDN [CELRRW](#).
42. Dandona R., George S., Kumar G. A. [et al.] Sociodemographic characteristics of women who died by suicide in India from 2014 to 2020: findings from surveillance data. *The Lancet Public Health*. 2023;8(5):e347–e355. DOI [10.1016/s2468-2667\(23\)00028-2](https://doi.org/10.1016/s2468-2667(23)00028-2). EDN [UQXTDQ](#).
43. Merriott D. Factors associated with the farmer suicide crisis in India. *Journal of Epidemiology and Global Health*. 2016;6(4):217–227. DOI [10.1016/j.jegh.2016.03.003](https://doi.org/10.1016/j.jegh.2016.03.003).
44. Pompili M., O'Connor R. C., van Heeringen K. Suicide Prevention in the European Region. *Crisis: The Journal of Crisis Intervention and Suicide Prevention*. 2020;41(S1):8–20. DOI [10.1027/0227-5910/a000665](https://doi.org/10.1027/0227-5910/a000665). EDN [GSQLND](#).
45. Daly M. C., Oswald A. J., Wilson D. [et al.] Dark contrasts: The paradox of high rates of suicide in happy places. *Journal of Economic Behavior & Organization*. 2011;80(3):435–442. DOI [10.1016/j.jebo.2011.04.007](https://doi.org/10.1016/j.jebo.2011.04.007).

Поступила: 20.04.2026. Доработана: 25.05.2026. Принята: 29.05.2026.

Сведения об авторе:

Демидова Елена Евгеньевна, научный сотрудник
кафедры социально-экономической географии зарубежных стран
географического факультета, Московский государственный университет
имени М. В. Ломоносова, Москва, Россия. edemidova@geogr.msu.ru
Author ID РИНЦ: 309693; ORCID: 0000-0003-1719-721X

E. E. Demidova¹

¹ Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

SOCIOLOGICAL ANALYSIS OF THE SPATIAL DISTRIBUTION OF LETHAL DEVIANCE: HOMICIDE AND SUICIDE IN A GLOBAL PERSPECTIVE

Abstract. The article examines the theoretical and methodological foundations of a sociological analysis of the spatial distribution of lethal forms of social aggression. The study aims to develop an analytical framework for examining the territorial differentiation of avital deviance at the intersection of the sociology of deviant behavior, criminology, suicidology, psychology, and human geography. Within a sociological approach, the article substantiates the possibility of analytically bringing together the concepts of “social aggression” and “social violence” as forms of destructive interaction within the social system that are evaluated through social norms. Intentional homicide and suicide are regarded as extreme manifestations of social aggression and are considered, respectively, as lethal hetero-aggression and extreme auto-aggression. These phenomena differ in the direction of action, social mechanisms, cultural interpretation, and modes of statistical recording; however, they are comparable in terms of the severity of their consequences and their connection with the violation of the life-preserving norm. Drawing on historical and contemporary statistical data, the study identifies significant territorial differences in the distribution of homicide and suicide. It shows that the relationship between these forms of lethal deviance is nonlinear and cannot be reduced to a universal direct or inverse relationship.

Keywords: sociology of deviance, social aggression, social violence, extra-aggression, avital deviance, intentional homicide, suicide, hetero-aggression, auto-aggression, spatial distribution, human geography

For citation: Demidova E. E. Sociological analysis of the spatial distribution of lethal deviance: homicide and suicide in a global perspective. *Science. Culture. Society.* 2026;32(2):67–85. (In Russ.). <https://doi.org/10.19181/nko.2026.32.2.5>

Acknowledgements: This work is supported by Lomonosov Moscow State University, project «Multi-scale effects of modern challenges on the socio-economic and political development of countries of the world».

Received: 20.04.2026. Corrected: 25.05.2026. Accepted: 29.05.2026.

Author information:

Elena E. Demidova, Researcher,
Department of Socio-Economic Geography of Foreign Countries,
Faculty of Geography, Lomonosov Moscow State University,
Moscow, Russia. edemidova@geogr.msu.ru
ORCID: 0000-0003-1719-721X